

Контратака

Сидели на скамейке. Ждали поезд. Он опаздывал.

Стояла тишина. Такая, что шепотом сказанное за километр слышать, а громкое и вблизи не услышишь. Устало опускалось за далекие остроконечные вершины деревьев отпущенное землей на отдых солнце, стремглав вырывались из-за горизонта и устремлялись за горизонт розоватые от света заката рельсы, заводными игрушками прыгали по деревянному настилу перрона воробьи, а у маленького, выкрашенного в темно-коричневый цвет здания станции, бессильно уронив ветви вдоль ствола, вот уже какой год стоит и ждет с войны Мишку Степанова плакучая береза, которую посадил он в день отправки на фронт, сказав ей весело: «Жди, красавица!»

«Нет, не дождется она Мишки, — горько думает Федор. — Нет сто — погиб в сорок четвертом у крохотной деревушки. Признался и своей любви к жизни длинной автоматной очередью в сторону яростно набегающей смерти и погиб... И Володьки Родько нет. И Валерки Батышева. И... Четырнадцать человек ушли на фронт из их деревни, а вернулись только трое — он, Павел Сонько да Андрей Захарнев. Но и Андрея уже нет — помер прошлой осенью от несогласия сердца жить рядом с заостренным стальным осколком. А Павел Сонько остался жить в Свердловске, пригрели его отчаянные уральские метели, миловидная уралочка. Лишь письма присылает — короткие, честные. Пишет, что стареет, что в последнее время не по дням своего рождения узнает об этом, а по количеству шагов от магазина до квартиры. Пишет, что шагов становится все больше и больше и что, верно, придет время, когда дорога станет такой длинной, что не хватит сил дойти».

Федор глубоко вздохнул, медленно достал из кармана пиджака и закурил Бог весть какую по счету за этот день папиросу, посмотрел на сидящую рядом жену, грустно и ласково улыбнулся.

Тридцать лет вместе прожили, и сколько он ей за это время сказал и горького, и сладкого. Много. Ой много, а горького-то особенно. Но сберегла она самое главное, без чего и слова не слова, да и жизнь не жизнь, — это видеть и понимать друг друга... С такой женой жить бы да жить еще, да, видно, недолго осталось. Отыскала его война. В старости отыскала. Верно, от лютой злобы за то, что не сумела убить его там, на фронте, собрала всю боль, что прятал он от друзей, что недолечил в госпиталях, и всадила в тело, как лом, — дескать, не обессудь, солдат, чем богата. За какой-то месяц уже больше десяти ее атак отбил он с помощью жены, врача, таблеток, уколов и вот устал. По-человечески устал от нее, от полных тревоги за него глаз жены, от растерянного лица молодой врачихи, от сознания, что, сам того не желая, мучает тех, кто любит его, от собственного бессилия перед нескончаемой болью. Только одна надежда и осталась, что на Бога. Да только не умеет он выпрашивать жизнь. Не Богом она ему дана — матерью...

Он загасил окурок о край скамьи, снова закурил. «Что делать-то? Что? А тут еще сын с невесткой приезжают. Приедут, а его боль скрутит. Уж что-что, а эта тварь знает, когда вцепиться. Покончить бы со всем этим одним разом. Мгновение и надо-то...»

— Клаша?

— Что, Федя? — тихо отозвалась она, по-прежнему глядя в ту сторону, откуда должен прийти поезд.

— Ты детям не говори, что меня боль навещает... Слышишь?

— Слышу.

Из-за самого края неба донесся короткий, быстро тающий в тишине тепловозный гудок.

Состав подошел к станции не спеша. Остановился медленно и прочно. Вагон, в котором должны были приехать сын с невесткой, остановился далеко впереди. Клавдия заспешила к нему, придерживая руками кончики платка. Федор зашагал следом. Доски перрона упруго пригибались под его телом.

Сына и невестку он увидел издалека. Они стояли рядом. Оба молодые, красивые. Сын — широкоплечий, уверенный, невестка — ладная и какая-то уютная.

Шагая к ним, он не столько смотрел па их лица, сколько на то, что держал на руках сын. Держал так же неумело, бережно и крепко, как и он когда-то.

— Глянь, Федюша! — вздрагивающим от волнения и счастья голосом сказала Клавдия. — Радость-то какая, Господи! Федор посмотрел на сына, на смущенную невестку, не знающую, куда девать руки, с ласковой грубоватостью спросил:

— Чего не отписали-то?

— Подарок хотели сделать, — ответил сын, взглянув на жену.

— Подарок, — проворчал Федор. Кашлянул в кулак, шагнул к сыну, по-отцовски потребовал: — Дай!

Сын улыбнулся, покорно протянул.

Федор взял ребенка на руки, не видя и не слыша никого вокруг, сдерживая дыхание, заглянул под одеяльце и сомлел от нахлынувшего счастья. Запахом парного молока пахнуло ему в лицо. Маленькое, беззащитное существо с пустышкой во рту доверчиво смотрело на него широко раскрытыми глазами. Внучка! Проглотил подступивший к горлу тугой сладкий комок, крикнул и, ни слова не говоря, словно путаясь, что вот сейчас отберут у него эту самую высокую награду, широко шагнул с перрона к дороге, той, что вела к живущей среди тайги небольшой, но теплой деревеньке. Услышал за собой беспокойное:

— Ты уж, Федюша, остороженько, остороженько. Ох ты, Господи! От станции до деревни немногим более получаса неспешной ходьбы.

Федор шагал серединой дороги. Песок круто скрипел под его ногами. Рядом, перекладывая из руки в руку тяжелый чемодан, шел сын. Следом, о чем-то негромко разговаривая, — Клавдия и невестка.

Солнце ушло. Было по-прежнему тихо. По обеим сторонам дороги зеленела громада тайги. Над головой раскинулось огромное, без единого угла небо. Бледно-розовое. Ласковое. Неслышно растекался вечер.

- Ну здравствуй, сын, — негромко произнес Федор, когда прошагали почти половину пути.

- Здравствуй, батя.

— Как жизнь?

-Нормально.

Федор педелю назад, да что там неделю — полчаса назад хотел о многом расспросить сына, а вот он рядом, и спрашивать не о чем. Да и о чем спрашивать: счастлив сын, счастлив и отец — тут арифметика простая.

Замолчали.

Ну, вы-то как тут без меня жили? — нарушил молчание сын.

— Потихоньку жили, — медленно ответил Федор. — То на рыбалку, то по хозяйству, то да се...

— А здоровье как?

— Здоровье? — переспросил Федор, хотел соврать, но, вспомнив, что не запахом пирогов встретит изба сына, а запахом лекарств, неохотно ответил: — Приболел малость...

Простыл на рыбалке. Ну, да ерунда это, — улыбнулся — лицом весело, сердцем грустно. — Выдюжим. Не впервой.

— Выдюжим, батя! Какой может быть разговор, — ласково и уверенно проговорил сын. — Для того и живем! — Федор ощутил на своем плече его тяжелую, крепкую ладонь.

«Дай Бог, сынок, — жадно подумал Федор. — Мне б только месяц продержаться, а там пускай, ежели боль без меня жить не может». А вслух спросил:

— Надолго приехали-то?

— На неделю.

— Чего мало-то?

— Дорога, отец, к тебе дальняя, а отпуск короткий. . Федор огорченно вздохнул, но ничего не сказал. Немного погода спросил:

— Устал?

— Устал, — честно признался сын.

— Ничего, у ручья отдохнем... Слышишь?

Впереди слышался торопливый говорок воды.

Остановились на мостике. Сын с облегчением опустил чемодан на сбитый из бревен настил моста, глубоко вздохнул. Подошли Клавдия с невесткой. Поочередно приподняли край одеяльца.

— Да спит она, спит, — тихо проговорил Федор.

— Ну и хорошо, — прошептала Клавдия, — Пускай спит на здоровье. Невестка улыбнулась. Федор посмотрел на нее и вдруг ясно понял, что с этой женщиной сыну шагать всю жизнь, подумал: «Если дружно, то ничего, прошагают». И громко:

— Спасибо, дочка, за внучку. Обрадовала стариков.

Невестка смущенно опустила глаза, затеребила поясok платья.

Федор стоял, бережно и крепко держа на руках неожиданное счастье, и впервые в жизни серьезно молил Бога (в которого никогда не верил) о том, чтобы тот хоть на несколько дней избавил его от боли, всей душой веря в то, что любовь человека к человеку тронет его сердце.

Деревня появилась неожиданно и вся сразу. Во многих избах горел свет. Где-то негромко играла музыка, лениво тявкала собачонка, натруженно скрипел ворот колодца, поднимая полное ведро воды...

По деревне, к своей избе, Федор пошел самой длинной дорогой. Шагал с гордым видом, пряча в уголках рта счастливую улыбку. Зная, что смотрят вслед, не оглядывался, на вопросы не отвечал. За него охотно и радостно отвечала Клавдия.

— Дождались мы. Внученька... Анечкой назвали... Красавица, — и приглашала в гости...

Изда Федора на окраине деревни. Небольшая, плотно сбитая, она, несмотря на старость, крепко стоит на земле в одном ряду с другими, на нее чем-то необъяснимо похожими.

Вокруг невысокий, потемневший от времени забор. За ним — аккуратные ряды грядок, сарайка со свежей заплатой на прохудившейся крыше. Рядом с ней поленница и здоровенный, исполосованный ударами топора чурбак.

Первой в избу вошла Клавдия. Следом, чуть пригнувшись, — Федор.

— Ну, вот мы и дома, — весело произнес он, когда Клавдия включила свет.

Клавдия засуетилась. Решительно отобрала у Федора внучку, кивнула невестке и вместе с ней ушла в спальню.

— Дома, — выдохнул сын. Опустил на пол чемодан и заходил по избе, бережно и ласково касаясь стен руками.

— Смотри-ка ты, и часы те же! — удивленно проговорил он.

— Тикают.

— А что с ними делается, — уронил Федор, с любовью глядя на сына. — Тикают потихоньку. — Посмотрел на свои руки, недоуменно проговорил: — И веса-то в ней, крохе, нет, а руки устали.

У меня, батя, в первые дни, с непривычки, тоже уставали, — заметил сын. — А теперь ничего, привык.

Из спальни на цыпочках вышли Клавдия и невестка.

— Спит королева? — шепотом спросил Федор!

Спит, — также шепотом отозвалась Клавдия. — Умаялась за дорогу, — и всполошенно: — Ты это куда?!

— На внучку посмотреть, — буркнул Федор, направляясь в спальню. — Я ж ее По-настоящему-то и не видел... Да осторожненько я, не бойся.

— Осторожненько, — проворчала Клавдия, входя следом за ним.

В спальне царил розоватый полумрак. Внучка, раскинувшись, спала поперек огромной двуспальной кровати.

«Господи, — подумал Федор, неслышно опускаясь на край кровати. — Крохотулька-то какая». И вдруг ясно понял, что лежит перед ним новая жизнь, которая в общем-то повторяет жизнь его Клавдии да и, наверное, всех женщин на свете. И что все будет в этой жизни: и слезы, и радости, и горе, и беды — все! «Ну и пускай, — подумал он, поправляя сбившееся одеяльце. — Если жизнь без этого прожить не может. Главное — чтоб войны не было, а остальное ничего, пускай...»

— Господи, — прошептала за спиной Клавдия. — Крапинка-то какая... А давно ль и я... — не договорила, прижала ладонь к губам.

— Ну чего ты, чего ты, — пробормотал Федор, вставая и глядя ее по голове широченной ладонью. — Слезы-то...

— Все хорошо, Федюша, все хорошо... Это я так... Просто, — сказала Клавдия. — От счастья я...

Утро встретило его прохладой. На лежащей невдалеке от избы поляне стелился туман, а далеко, где-то за краем тайги, спешило обогреть землю и людей отдохнувшее за ночь солнце...

За его спиной скрипнула дверь, и на крыльцо в наброшенном поверх кофты подаренном сыном пледе вышла Клавдия. Подошла к мужу, улыбнулась каждой морщинкой, сказала, как спела:

— Хорошо-то как!

— Как и положено, — со знанием дела отозвался Федор, доставая папиросы, посмотрел на жену и весело то ли спросил, то ли подтвердил: — А внучка-то у нас какая! Всем внучкам внучка.

— Глазастенькая, — улыбнулась Клавдия. Помолчала, с грустной улыбкой добавила: — Вот и стали мы с тобой дедом и бабой.

— Значит, заслужили, — охотно отозвался Федор, тяжело сядя на ступеньку крыльца. — Не всякий, должен тебе

сказать, — поднял палец, — такого высокого звания достоин, потому как это высокое звание равно армейскому «генерал». Так что мы с тобой генерал и генеральша, а внучка, потому как она нам эти звания присвоила, никак не меньше как генерал армии... Так-то!

— Да ну тебя! — Клавдия шутливо махнула рукой. — Я и генерала-то живого не видела.

— Так смотри! — Федор стукнул себя кулаком в грудь.

— Генерал ты мой! — Клавдия ласково потеряла его поредевшие волосы.

Замолчали.

Невесть откуда прилетела ворона и с гордым видом зашагала по двору. У чурбака остановилась, сверкнула бусинками глаз, лениво взмахнула крыльями и полетела к лесу.

— Не болит? — негромко спросила Клавдия, провожая птицу взглядом.

— Нет.

— Может, устала болеть-то? — с робкой надеждой обронила жена. — Может...

— Она не устанет, — угрюмо перебил ее Федор. — Она упрямая, у нее цель есть и... — усмехнулся, тронул за локоть: — Да иди ты в избу-то. Простынешь еще.

Клавдия ушла, набросив на плечи плед.

Федор раскурил погасшую папиросу... Какое-то непонятное, почти забытое чувство тревоги, смешанное со страхом, охватило его. Это ощущение было похоже на то, что приходило к нему там, на фронте, перед самой атакой.

— Этого мне только и не хватало, — пробормотал он, глубоко затягиваясь табачным дымом и, как и там, на фронте, жадно глядя по сторонам, словно стараясь отыскать то, что не терял, но может потерять. — Вот черт, — процедил он, вдавливая окурочек в ступеньку, и вдруг почувствовал, как сладкая, до тошноты, слабость медленно наполняет его тело.

Хотел привстать, оперся обеими руками и не смог.

— Вот сука, — пробормотал тихо. — Нашла время... И

Бог тебе не указ... Ах, сволочуга, — закусив губу, с трудом подвинулся к стене избы, вяло привалился к ней боком, прижался щекой, закрыл глаза, прошептал: — Кажись, хана — и впервые в жизни испугался, не зная, что делать.

Это была не боль. Боль, какая ни на есть, — она честная. Она — вот она, а тут...

Перед глазами, сверху вниз, одна за одной, стараясь обогнать друг друга, замелькали картины жизни: детство, война, Свадьба... Все самое главное, чем жил все эти годы. Мелькание становилось все чаще, грозя превратиться к одну неразличимую, смазанную полосу, и он вдруг ясно понял, что вот сейчас, сейчас мелькнет последнее и — все... Все! И он всем сознанием, последней силой воли стал тормозить, тормозить это мелькание, жадно цепляясь за каждый штрих. И оно стало реже, реже и, наконец, как поплавок на воде, стало дергаться, грозя вот-вот потонуть, дразня, как рыбака: дай нырнуть — и ты вытащишь свою самую большую рыбу;..

Он собрал все свои силы, все свое желание жить, открыл глаза, рванул свою невидимую удочку и увидел ярко-живой краешек солнца...